БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ

Р. ЛЕФЕВР и П. ВАЙАН-КУТЮРЬЕ

СОЛДАТСКАЯ ВОЙНА

Б 42 4/59

№ 179—180 Цена 10 к.

ЛЕНИНГРАД „ПРИБОЙ“

Кон. п.

„СТРОЙКА“

Литературно-художественный альманах ЛАПП

Книга третья

Содержание: Михаил Карпов — Пятая любовь. А. Крайский — Стихи. Ген. Фиш — Стихи. Борис Соловьев — Старый штейгер. Стих. Иван Никитин — Живодер. Ал. Дорофеев — О доме-коммуне. Павел Журба — Обрубок. В. Саянов — На кедровой заре. Ив. Васильев — Болотное. Г. Горбачев — Город в современной пролетлитературе.

Стр. 333 Цена 2 р. 50 к.

„ПРИБОЙ“

Альманах второй

Содержание: Михаил Карпов — Карбуш. Н. Васильев — Солдат. Л. Грабарь — Харкотина. М. Казаков — Партийное дело. Ив. Никитин — На пустыре. Ник. Баршев — Боязнь пространства. Стихи.

Стр. 227 Цена 1 р. 25 к.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ

Р. ЛЕФЕВР и П. ВАЙАН-КУТЮРЬЕ

СОЛДАТСКАЯ ВОЙНА

Б 4/2 4/59

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Д. И. ВЫГОДСКОГО

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД 1926

ГОСУД. РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
57769
12-VI-1926
БИБЛИОТЕКА

Ленинградский Гублит № 11404. Печ. 15.000 экз.—4 л. Заказ № 2144.

Гос. тип. им. тов. Зиновьева. Ленинград, Социалистическая, 14.

Долговязый

Эльбос был моим приятелем.

Представьте себе бесконечно длинную, тощую фигуру с курносым носом, лягушечьими глазами и широким ртом на невыразительном плоском, как блин, лице. Он был очень некрасив.

Больше того: в его некрасивости было что-то необычное, что-то нездоровое, что отталкивало от него людей, и неумение смотреть людям прямо в глаза еще более усиливало это неприятное впечатление.

У него было типичное лицо прирожденного плута.

Наш ротный командир говаривал о нем:

— Удивительно несимпатичная физиономия у этого Эльбоса.

Ад'ютант говорил то же самое, что ротный командир.

И все-таки Эльбос был милейшим человеком.

С его прошлым я был знаком довольно поверхностно; я знал только, что он владел небольшим куском земли в одной из южных провинций и был не чужд политики, — в самых

скромных размерах, конечно: он играл роль подставного лица на местных окружных выборах.

Он любил вспомнить об этом героическом периоде своей жизни, и слушателем выбирал предпочтительно меня.

О его убеждениях вообще я знал только, что он любил подшучивать над попами и презирал газеты, какого бы направления они ни придерживались.

О войне он говорил, как тот, кто сам делает войну.

Ему было уже под сорок, и он успел потерять здоровье на работе. Служил он в пехоте.

Мы сражались тогда (это вечное наблюдение за притаившимся врагом было не чем иным, как затянувшимся сражением) среди лабиринта воронок от снарядов, защитных ям, наблюдательных пунктов и траншей, заваленных бесчисленными зловонными трупами. С последними мы так свыклись, что перестали их замечать.

У амбразуры Эльбоса сбоку торчала из земли нога, обутая в сапог. На эту ногу было очень удобно вешать сумку, и Эльбос называл ее своей «вешалкой». Уверяю вас, что в этом не было ничего зловещего. Эльбос даже привязался к этой ноге, и понятно почему: когда долгие дни и ночи проводишь на нескольких квадратных метрах земли и видишь вокруг себя

все одни и те же предметы, невольно научаешься любить мелкие подробности твоего быта, твою амбразуру, мешки прикрытия, полочки в земляной стене и т. д.

Мне кажется, что Эльбос просто полюбил свою нору.

Он уверял, что в роте нет никого бдительнее его. Это было правдой.

Но он говорил также, что он лучший стрелок в роте. Это уже было весьма спорным.

Это мнение о себе у него появилось давно, еще тогда, когда он проходил военный строй в казарме. Унтер из насмешки над Эльбосом, никогда не попадавшим в мишень, всадил за него восемь пуль в кружок. Эльбос счел это своей победой и с тех пор не сомневался в своем уменьи стрелять.

Каждое утро он сообщал нам, своим товарищам по окопу, что ночью ему удалось пристрелить немца.

Возможно, что он наслушался рассказов других стрелков о своих подвигах; весьма вероятно, наконец, что он действительно стрелял; факт, тот, что он всегда рассказывал о ночном приключении приблизительно в одних и тех же выражениях:

— Было это часу этак в первом... Я не спал. Вдруг, вижу при свете ракеты, у проволочных заграждений что-то шевелится. Ага, думаю, по-

пался, сукин сын. Жду... летит вторая ракета. Стреляю. Уложил парня на месте. Одним меньше, сказал я себе и закурил трубку.

Тут Эльбос, в ответ на улыбочки сомневающихся слушателей, расплывался в добрейшей улыбке, раздвигавшей его рот до самых ушей и окончательно прятавшей крохотный подбородок в дряблых складках шеи.

А я как-то дознался, что он каждую ночь безрезультатно стрелял все в одну и ту же огромную крысу, грызшую трупы убитых.

И вот однажды рано поутру, когда он, вытянув голову, старался рассмотреть свою ночную жертву, рывшуюся перед окопом, немецкая пуля угодила в его широкий лоб.

Мозг, смешанный с кровью, забрызгал мешки с землей, сумку и сапог на мертвой ноге.

Общее мнение роты было таково, что это произошло из-за чересчур высокого роста бедного Эльбоса.

Барышня Моран

Солдата Морана никто не называл иначе, как «барышня Моран».

Представьте себе высокого тонкого девятнадцатилетнего юношу с нежными руками, с красивым несколько утомленным женственным лицом, с тихим голосом и мягкими движениями. Он был белокур.

Какой неуместной казалась тяжелая железная каска, давившая голову этого мальчика, как странно было видеть на нем кору затвердевшей окопной грязи, которой покрылись мы все в эту необыкновенную дождливую предпасхальную неделю.

Моран не был ни буржуа, ни интеллигентом. В его книжке значилось: слесарь. Надо думать, что он был хорошим работником.

Моран не забывал и в окопе заботиться о своей внешности. Он всегда прятал немного воды для умывания. Во время отдыха он первый уничтожал своих вшей, первый мылся, чистился, и первый шел на учение.

Он не пил и даже побаивался водки, как слишком крепкого напитка. Один только раз я видел его пьяным. Товарищи не мало потешались тогда над ним. Он был похож на ребенка, которого напоили взрослые. Грустно было смотреть на него. Он долго стыдился потом этого случая. Он много читал, но читал без разбора: романы всех видов и удивлялся моему презрению к такого рода литературе.

Он приносил нам приказы ротного командира, и я любил выслушивать их от него больше, чем от других, т. к. у него был певучий голос и приятная улыбка. У него было высоко развитое чувство дисциплины. Он быстро краснел... В первое время я принимал его даже за духовное лицо...

Моран был храбр, но не из равнодушия к страданию, как это бывает у многих. Вид ран приводил его в ужас. Однажды, перенося вместе со мной раненого солдата с развороченным животом, он лишился чувств.

Дома его ждала невеста. Он любил рассказывать о ней. И часто в минуты подавленности и уныния мне доставляло отраду думать о том, какую прелестную пару составят они, когда, приехав в отпуск, он будет гулять с ней по цветущим весенним лугам родной деревни.

Моран умер, соблюдая свойственную ему умеренность и аккуратность. Бывает смерть без-

образная, чудовищная, когда тело разрывается на куски, разворачиваются внутренности, долгая агония потрясает грудь; хрип, крики, и судороги корчат тело, когда кровь хлещет ручьем и забрызгивает все вокруг. Моран умер, я сказал бы, много опрятнее.

Я ли повинен в его смерти, или так уже должно было случиться,—кто знает...

В пятницу утром на пасхальной неделе, когда нас жестоко обстреливали из тяжелых орудий, Моран доставил мне приказ, требовавший «немедленной отсылки наличного остатка пустых гильз, значившихся в представленной мною ведомости, т. к. сданное в штаб число разнится от указанного в ведомости на двенадцать штук».

Это распоряжение, своевременность и неотложность которого в минуту жестокой бомбардировки показались мне сомнительными, эта преданность духу штабного формализма, которым подменивают истинную организованность, возмутили меня до глубины души.

— Если у тебя есть охота, иди, ищи гильзы в этой двухаршинной грязи,—сказал я Морану.—Сам я не пойду.

Моран ушел, улыбаясь, как всегда. Несколько минут спустя, мой гнев поулегся,—вспышки непослушания длятся недолго,—и я вышел из землянки, надеясь найти хоть несколько из недостававших двенадцати гильз.

На одном из наблюдательных постов я увидел Морана. Стоя на ступеньке, вырытой в земле, он спокойно ловчился притянуть к себе рукояткой лопаты валявшуюся за возвышением гильзу. Время от времени он наклонялся, пропуская свистевшую мимо пулю, и снова принимался за работу.

— Моран, слезай скорее. В тебя сейчас начнут стрелять.

— Нет, меня тут не заметят. Мне очень хочется достать эту гильзу.

Вдруг Моран выпустил лопату, резко повернулся ко мне лицом и довольно легко соскочил в окоп...

Но через секунду он упал на колени, свесив руки. Солдат Проспер, стоявший у амбразуры, смотрел на него, не двигаясь с места. Я приблизился к нему.

Моран свойственным ему движением повернул голову направо, потом бессильно откинул ее назад.

Проспер нагнулся над ним. Я приподнял его руку, но она неподвижно упала в грязь.

Он был мертв. Лицо было спокойно, на голове не было раны. Я расстегнул его шинель.

На белой груди под сердцем виднелось маленькое черное отверстие...

Морана похоронили.

А через шесть дней он должен был уехать в отпуск.

Я не слишком огорчался за его невесту. Я знал, что она постарается его забыть.

Смерть Бретена

— Бретен, не выходи из рядов! На место!.. Живо!..

Рота развертывается длинной колонной, по-и усеянном стаканами от снарядов.

— Ряды вздвой! На пле-ечо!

— Ша-агом марш!..

Рота развертывается длинной колонной, подобно змее, медленно разворачивающей свои кольца; в рядах звякают железом манерок и хрипло переговариваются. Выступают в сумерки.

Офицеры подбадривают солдат. Сегодня все получили двойную порцию вина. Но тяжелее мешков с увесистым грузом придавила всех тревожная мысль: нас отправляют в самый опасный сектор.

— Не выходи из строя, Бретен!

В этом смятении сердец и вещей я стараюсь соблюдать привычный порядок, я даже пытаюсь быть требовательным и придираюсь к мелочам. Я кричу в пространство единственно для того,

чтобы слышать свой собственный голос; так мне легче взять себя в руки.

Вокруг нас до самого горизонта тянется бесконечная, унылая, серая и грязная равнина Шампани, как бы самой природой созданная для битв: бескрайное пустынное болото, местами поросшее хмурыми елями. Кое-где видны остатки уничтоженных артиллерией лесов. Темнеют пятна лагерей, состоящих из дюжины—другой низких палаток.

Мы проходим мимо искусственных прикрытий из веток, за которыми прячутся наши орудия. Иногда из-за них выскакивает жерло пушки, с громом выбрасывает длинный огненный язык и, дымясь, прячется снова.

К вечеру мы добираемся до линии окопов, которые нам велено занять. Те, кого мы сменяем, уходят поспешно; они бледны и похожи на призраков. Это подчеркивает нам негостеприимство нового места. Измученные переходом, расслабленные от алкоголя люди размещаются и с тревогой дожидаются утра. Отвесные стены окопа являются надежной защитой, но вместе с тем они давят как ловушка.

Мне не спится.

Несмотря на холодную ночь, я весь в поту. Это оттого, что я не раз проваливался в ямы, наполненные водой, оттого, что исходил взад и вперед всю нашу линию окопов, оттого, что

хлопотал, устал и вообще ослабел. Пот застывает и холодит кожу, мне необходимо отогреться. Я выхожу. Нас обстреливают из тяжелых орудий.

Я ищу Бретена. Я люблю болтать с ним. Это—молоденький помощник пекаря, парижанин, восемнадцатилетний мальчик, очень храбрый, с симпатичным и не пошлым лицом, большой шутник и великолепный исполнитель песен.

— Где Бретен?

— Он только-что был здесь.

Немцы пронюхали о новой смене и сразу засыпали нас снарядами. Повидимому, в соседней части есть потери. Никто не решается высунуть носа.

На посту Бретена я застаю Проспера.

— А где-же Бретен?

— Он лежит под навесом... Меня поставили на его место. Ему не повезло: осколком разворотило живот.

Навес находится в правом конце моего сектора. Я иду туда. Из-под навеса тянет невыносимой вонью человеческих экскрементов, смешанной с запахом немецкого пороха. Дальше траншея почти сравнена с землей, и там, где был ход сообщения, между концом траншеи и навесом, при свете ракеты я вижу Бретена, лежащего на земле на высоте моей головы, на почти открытом месте. От пуль его защищают несколько

прорванных мешков с землей, которые понемногу пустеют, продырявливаемые новыми пулями. Он бел как мел, и кровь, струйкой стекающая из его ноздри по щеке, кажется черной. Он еще жив.

Долгие судороги потрясают все его тело, как тело только-что зарезанного животного. В горле что-то клокочет. Он бормочет слова, которых я не могу разобрать. Пули летают низко, и я ползком пробираюсь к нему. Ползу в какой-то отвратительной зловонной жиже. Наконец, я добираюсь до него. Едва решаюсь перевести дыхание.

На одну секунду я освещаю фонарем то место, где лежит Бретен. Ослепленный ярким светом, он не видит меня, но я успеваю разглядеть его глаза, выражающие безграничный ужас...

Губы, покрытые розовой пеной, еще шевелятся, и тело продолжает вздрагивать.

Мой фонарь привлекает пули, и я гашу его.

Два раза под-ряд я пытаюсь приподнять тело Бретена и унести его из этой клоаки, но оба раза он выскользает из моих рук и тяжело хлюпается в жидкую грязь. Я ползу обратно в окоп. Меня преследует отвратительный запах из-под навеса.

Я подзываю к себе первого попавшегося на пути солдата, сообщаю ему, где находится наш

милый певец. Мы захватываем все нужное и снова пускаемся к навесу.

Начинает светать. Надо торопиться.

Внезапно я слышу свист приближающейся бомбы...

Мы прилипаем к земле, втянув голову в плечи.

Снаряд тяжело падает в нескольких шагах от нас.

Ужасный взрыв сотрясает почву. Мы оглушены. Едва оправившись, в еще не рассеявшемся дыму, мы бежим к Бретену.

Его нет. На том месте, где он только-что испускал дух, мы находим только комья навороченной взрывом земли.

Из черной грязи торчит неизвестно как сюда попавший колышек от колючей проволоки.

Погребен ли он под землей, разорван ли снарядом, кто знает?

Светает. Мы не находим никаких следов его трупа...

Мы поставили на том месте маленький деревянный крест, а под крестом зарыли бутылку с запиской, в которой обозначили имя и дату смерти нашего бедного певца.

Крест Дидуля

— Говорят, что нашей роте будет выдано пять крестов,—об'явил товарищам Дидуль, ходивший за вином.—Жермен, вестовой капитана, сказал мне...

— Вот как!

— Да. Но вина из-за этого все-таки не стоит проливать на землю, чортов сын...

Сказать Дидулю «чортов сын» было большой смелостью. Мы ожидали от него в ответ на это целой лавины трехэтажной солдатской ругани, в искусстве которой наш славный Дидуль не имел себе равных.

Жаль, если перлы этой области творчества не будут закреплены стенографией и не послужат нашим ученым филологам материалом для воскрешения в современном литературном языке всего богатства юмора и остроты, утраченного со времен Раблэ.

Дидуль, однако, не ответил ни слова.

Все ждали, думая, что он собирается с духом. Но он спокойно принялся за свой суп.

Весь взвод изумился его молчанию. Люди расхрабрились.

— Что же, из-за этих пяти крестов ты языка лишился, Дидуль?—неосторожно спросил один.

Дидуль повернулся к нему и окатил его потоком замысловатых ругательств, непосредственно задевавших женскую честь матери, сестры и жены смельчака. Тот, оказывается, попал в самую точку. Дидуль, с одинаковой выдержкой переносивший и наказания, которым он подвергался за свое вечное пьянство, и опасности, с которыми он сталкивался в строю, вызываясь на самые отчаянные предприятия, страстно мечтал заслужить военное отличие. Он считал, что имеет на него право. Но оно упорно ускользало от него, и, увы, надежд становилось все меньше: через месяц Дидуль уходил в отпуск.

Пять военных крестов были распределены капитаном по жребию. Капитан был человек справедливый; он прекрасно понимал, что все его солдаты одинаково заслуживают отличия, и считал жребий единственным способом выпутаться из трудного положения. Этим он как бы признавал коллективное мужество роты, и все солдаты, за исключением одного Дидуля, оценили это.

Судьба оказалась равнодушной к страстному желанию Дидуля. Жребий обошел его.

Взбешенный этой неудачей, которую он считал прямой несправедливостью к нему, пьяный как стелька, он бродил вдоль окопа, спотыкаясь и ругаясь.

Наш сержант, милейший человек, хорошо знавший Дидуля и не раз видавший, как тот, будучи в любом градусе, моментально приходил в себя при первом выстреле 75-миллиметрового орудия, усмехался в усы, глядя на него.

Несмотря на свою редкую выносливость, Дидуль скоро свалился на пороге нашей землянки и заснул на грязном оледеневшем полу, покрывая своим оглушительным храпом грохот разрывающихся неподалеку снарядов.

— Сегодня он что-то не в себе,—добродушно сказал сержант. — Прикройте его одеялом и дайте ему выспаться.

Как раз в эту самую ночь наша часть должна была отправиться за водой. Это было опасным делом. Сержант поглядел на Дидуля. Он никуда не годился. Как поступить? Наказать? Отдать под суд? Но его расстреляют. Промолчать—значит подвести под опасность начальство. Но сержант был хороший человек. Мы пошли за водой без Дидуля.

Когда мы уже выступали, группа людей вошла в окоп, в дальнем углу которого находилась наша землянка.

— Генерал,—прошептал кто-то.

Сержант взглянул на Дидуля, потом на генерала и понял, что погиб.

— Что там за человек?—строго спросил генерал, указывая тростью на Дидуля.—Убитый? Здесь не разрешается оставлять убитых, вы это знаете... Что такое? Да он храпит...

— Генерал...—едва выговорил сержант.

Генерал выжидательно кивнул головой.

— Генерал, это один из моих солдат, только-что совершивший смелую разведку. Он открыл наблюдательный пост немцев... Он вернулся очень утомленный, свалился здесь и заснул, и я прикрыл его одеялом.

— Запишите фамилию и часть,—приказал генерал своему ад'ютанту. И начальство ушло.

Неделю спустя изумленному Дидулю об'явили, что он по приказу бригадного командира награждается крестом за добровольное выполнение опасного поручения.

— Почему не написано, какого?.. Чудеса...— бормотал Дидуль, читая и перечитывая приказ.

Один из них

Самый ужасный момент боя—это атака ползком.

Представьте себе десятка два солдат, тяжело нагруженных мешками, ранцами, котелками, ручными гранатами, патронами и винтовками, людей, потерявших всякую печать индивидуальности, в одинаковых тяжелых намокших шинелях, ползущих на четвереньках по грязной, изрытой земле, где колючки проволочных заграждений рвут платье и впиваются в тело, часами сражающихся с невидимым врагом под свист снарядов и грохот смертоносных разрывов, людей, из которых ежеминутно то один, то другой вдруг останавливается, ничком падает в грязь и умирает, не вызывая ни в ком жалости; двадцать жалких существ, даже не пьяных, терзаемых животным страхом, которых ты должен неуклонно гнать вперед, напоминая о кровавой цели продвижения, цели с нелепым названием: неприятель. Взвод, ползущий в атаку, это—один маленький зубчик огромного всесокрушающего колеса войны.

И ты, начальник этих лишенных мысли человеческих существ, ты сам перестаешь думать, перестаешь понимать, ибо голова твоя полна грохота, а взоры насыщены смертью, ты помнишь только о своем теле, о своем драгоценном теле, но знаешь твердо, что твои люди не спускают с тебя воспаленных глаз, что они повинуются каждому твоему движению. И это делает тебя храбрым.

Во время одной из таких атак я впервые увидел, как мои люди застрелили немца.

Я знавал солдат, которые считали убитых ими немцев по числу выпущенных ими зарядов, знавал вояк, научившихся владеть ножем не хуже любого мясника, офицеров, не зря носивших оружие.

Но что касается лично меня, я ни разу своей рукой не убил человека.

И все же я считаю себя в большой степени повинным в смерти художника Ганса Кольба. Суди сам.

Остановленные в нашем продвижении заградительным огнем пулеметов, мы залегли под прикрытием небольшого пригорка и стали ожидать нашего ответного артиллерийского огня. Я обернулся и окинул взглядом взятое нами пространство.

Мы отбили у неприятеля около 600 метров, но заплатили за них не дешево: темные пятна

трупов рассеяны были по всему склону пригорка и по лощине вплоть до окопа, откуда мы двинулись; и далеко не все из убитых были немцы.

Я пытался отыскать глазами своих товарищей среди убитых, как вдруг среди тяжело раненых, среди полутрупов, которые часто валяются неподобранными в течение целого бесконечно длящегося дня, долгие часы еще шевелясь, слабо призывая на помощь, дергаясь, корчась в предсмертных судорогах, среди них я увидел германца в каске, сидящего в трехстах шагах от нас, на краю недорытого окопа.

Он сидел, наклонившись вперед, и, видимо, был занят каким-то делом. Но каким? Я взял бинокль, но и в него не мог разглядеть, что именно он делал. Несомненно было одно: в руке его что-то металлическое... не проволока ли...

Я тронул за плечо своего соседа, маленького капрала-бретонца.

— Ну-ка, обернись, да посмотри вон туда,— сказал я ему.—Что ты видишь?

— Ого, да там немец...

— Он, кажется, телефонирует...

В ту же секунду наши головы инстинктивно, как по команде втянулись в плечи, и я почувствовал в мускулах затылка и шеи то болезненное содрогание, которое вызывает у меня треск разрывающихся снарядов.

Три германских «чемодана» с хриплым лаем разорвались позади нас, совсем неподалеку. Они разнесли в щепы последнее чахлое, уцелевшее до тех пор, дерево. Когда все утихло, несколько человек из моих солдат обернулись и посмотрели на немца.

— Он подводит нас под выстрелы своим проклятым телефоном,—пробурчал Проспер, слышавший мои слова.

И прежде, чем я успел вымолвить слово, он приложился и выстрелил, но промахнулся. Немец и не думал уклониться; не одна пуля пролетела мимо него во время атаки.

В этот день это было первым ружейным выстрелом, который нам пришлось сделать. Последующие были более удачны, большинство моих солдат разрядили ружья.

Немец, после первой попавшей в него пули, посмотрел на нас широко раскрытыми от удивления и отчаяния (или мне так почудилось?) глазами, при следующем залпе он упал, и каждая новая пуля, вонзаясь в него, вызывала только легкие подрагивания. Потом по телу его прошла судорога, и он, протянув руку к небу, уронил ее и застыл.

Мне не сразу удалось заставить моих людей прекратить стрельбу. Очевидно, им доставляло удовольствие стрелять по такой удобной, близкой мишени, которая не отстреливалась и не пряталась.

В тот же день вечером я уходил после атаки в резерв, голодный, угрюмый, израненный, ведя за собою остатки моего батальона. Вдруг я споткнулся обо что-то твердое, валявшееся в лощине; это был труп.

По окружающей местности, хорошо мне знакомой, я понял, что это мой немец. Его мундир был во многих местах продырявлен пулями и пропитан кровью. На ноге болтался бинт недоконченной перевязки, которой он, очевидно, был занят, когда мы в него начали стрелять.

В окопе, на краю которого он сидел, я не нашел никаких следов телефона.

Рядом с трупом валялся ранец, в котором, очевидно, уже рылись. Из него торчала записная книжка, которую я почти машинально сунул к себе в карман.

Позже, отдохнув от атаки, я раскрыл ее.

Я нашел в ней наброски тыловой жизни, пейзажи, эскизы животных, полные жизни и выразительности детские, женские головки... Под каждым рисунком была дата. Они принадлежали перу талантливого художника—это было несомненно. Мне вспомнились его глаза.

На обложке было написано: «Военная записная книжка Ганса Польба, художника из Мюнхена».

И, что бы ты мне не говорил, я знаю, что его смерть на моей совести.

Страх

Многие любят потолковать о страхе. Есть люди, которые утверждают, что они никогда не испытывали этого чувства; есть и такие, которые говорят, что они пережили его единственный раз в жизни; но они любят вспоминать и пространно рассказывать об этом исключительном случае, главным образом, для того, чтобы слушатели не забывали, что во всех остальных случаях они страха не проявили.

Не скрою, что я не раз испытал чувство страха, в большей или меньшей степени, конечно.

Это — непреодолимое, физическое чувство, такое же, как зубная боль, недомогание или страдание от холода.

Я хочу рассказать о недавно пережитом мною чувстве страха... Этот случай глубоко запечатлелся в моей памяти. Это был страх без маски притворства, без стыда, без свидетелей, страх необузданный, животный, непреодолимый.

Несколько дней длился бой без перевеса в ту или иную сторону. Это было одно из тех

дутых наступлений, которые нужны прессе для кампании в пользу нового военного займа.

После пятидневного боя, за время которого мы то отвоевывали несколько пядей земли, то уступали их врагу, мы получили, наконец, приказ окопаться на открытом возвышенном месте.

Это было в полночь, а с раннего утра немцы, обрадовавшиеся удобному прицелу, начали засыпать нас снарядами всех калибров.

Обстрел был систематический, меткий, все усиливающийся.

Как ужасна эта смерть, нащупывающая вас издалека. Это мучительное ожидание неминуемого удара, который вот-вот приближается.

Сознаешь, что сделано все, что можно было сделать, и что остается только сидеть и ждать.

Мы залегли в вырытых на спех ямах, тянувшихся цепью и намечавших линию будущей траншеи. Всю ночь шел дождь, и наши ямы, несмотря на натянутые брезенты, были до половины наполнены водой. Мы лежали в ваннах из дождевой воды.

Вода прибывала, и мне приходилось вычерпывать ее руками. Мутная жидкость грязными струйками просачивалась до самого тела. Она пропитала шинель лежавшего рядом убитого немца и медленно смывала с его головы черную запекшуюся кровь.

Во время коротких передышек в бомбардировке я с любопытством присматривался к работе воды, пока разрывавшиеся неподалеку снаряды не заставляли меня инстинктивно втягивать голову в плечи.

Помню, я перечитывал письмо от матери, отсыревшее измятое письмо, с выцветшими, точно заплаканными буквами, когда 105-миллиметровый снаряд, разорвавшийся в нескольких метрах от моей ямы, всадил мне в бок добрую порцию раскаленного свинца.

Несколько секунд я катался в жидкой грязи и кричал, что я ранен.

Потом я, должно-быть, на несколько минут потерял сознание. Затем тело мое как бы несколько свыклось с пережитым потрясением, и я очнулся. Рана была сравнительно несерьезная. Из-под брезентов выглянуло несколько голов: мои солдаты хотели знать, что со мной.

Я крикнул им:

— Я ухожу. Всего доброго!

И, с большим усилием поднявшись на ноги, я подошел к капитану, доложил о своем уходе и поспешил на перевязочный пункт, расположенный позади наполовину уничтоженного снарядами небольшого леска.

Бомбардировка усиливалась. Я шел один без солдат, которыми привык командовать: меня охватил страх. Я поддавался ему все сильнее...

Дожидаться конца бомбардировки? Но где же укрыться? В лесу находился небольшой блиндаж, в котором засел один из моих товарищей со своими солдатами; я пошел к нему.

Блиндаж был прекрасным убежищем; но он был тесен, и звериный эгоизм этих страшных часов прогнал меня оттуда; я сразу понял взгляд, которым обменялись эти одичавшие люди, и не забуду этого взгляда.

И я побежал дальше по открытому склону пригорка, среди редких обгорелых стволов. При быстром беге я не слышал воя снарядов, и это уже было счастьем. Я спускался к лощине. Ветки били меня по лицу, в ушах звенело. Вдруг я наступил на что-то живое. Это был человек, лежавший на земле. Он едва пошевельнулся и слабо выругался; рядом с ним я разглядел еще нескольких человек. Они лежали на земле, перепуганные, лицом вниз, каждый в своей яме, точно стараясь всем телом уйти, вдавиться в землю.

Я обрадовался им. От потери крови я весь дрожал, и ноги у меня подкашивались.

Это были пулеметчики, лежавшие в резерве.

Увидев, что я остановился возле них, они недовольно заворчали.

И здесь для меня не было места.

Мне сильно хотелось пить, но я не посмел сказать им об этом. Я видел, что мое появление было им неприятно.

— Ты кто такой?

— Раненый...

— Вот счастливец!

— Уходи поскорей из этого ада.

— Повезло же человеку.

Из потребности чувствовать себя менее одиноким, я пожал руку ближайшему из солдат; рука была потная, вялая и холодная. Она не ответила на мое пожатие.

Как легко научаешься не презирать людей за законное эгоистическое желание во что бы то ни стало остаться в живых; это желание доступно самым благородным сердцам.

Но чего мне стоило уйти оттуда!

Перевязочный пункт находился на другой стороне лощины. Я видел его сквозь дым, но сама лощина передо мной была сплошным адом.

Я дожидался передышки, бросился вперед, потом услышал приближение новых снарядов и опять остановился.

Впереди меня, очень близко, разорвалось одновременно шесть снарядов, на расстоянии трех метров один от другого. Я упал ничком. Страх пригвоздил меня к земле.

Я ждал передышки. Вдруг маленький стальной осколок ударился о мою каску.

Это заставило меня решиться. Теперь или никогда!

Я бросился вперед и пробежал почти всю лощину, как вдруг услышал в воздухе зловещий вой двух приближающихся снарядов. Я растянулся на месте. Колючая проволока жестоко впилась мне в ляжку.

Один из «чемоданов» упал совсем рядом со мной, но не разорвался, другой ухнул подальше и разлетелся дождем осколков.

Я вскочил на ноги и через несколько секунд был уже у перевязочного пункта. Перед входом в него было устроено прикрытие из сложенных в три ряда немецких трупов. Я прошел по ним и спустился в землянку.

В ней копошились люди.

Среди стонов и жалоб раненых я уловил голоса людей, препиравшихся о моей персоне.

— Кто там?

— Еще один раненый.

— Тяжело?

— Нет, он сам пришел.

— Тогда пусть идет в бригадный пункт — было такое распоряжение.

У меня упало сердце.

— На как же его оставить снаружи под таким огнем? Все равно его через пять минут санитары принесут тяжело раненым. Это — офицер.

Снаряд, разорвавшийся на крыше землянки, вызвал движение среди говоривших. Я разглядел их несколько яснее.

— Офицер? Ну, ладно, пусть войдет!

И здесь мне не слишком обрадовались.

Наконец-то я укрыт от обстрела.

Это—перевязочный пункт, брошенный немцами во время отступления.

Большая просторная землянка с полками по стенам, уставленными флаконами и связками ваты и бинтов.

Она переполнена. Внутри разлит сероватый холодный свет, отражающийся от меловых стен, и невыносимое зловоние от наваленных друг на друга стонущих, грязных, истекающих кровью тел. В глубине этого погреба царит почти полный мрак, а воздух, пропитанный запахом иода и человеческой вонью, сперт до тошноты.

У задней стены лежат тяжело раненые. Туда же снесли тяжело раненых немцев, подобранных на пятый день после боя, в ужасном состоянии. Их раны распространяют удушливое зловоние.

Врачи хлопочут над наиболее пострадавшими.

Полковой хирург, которого угадываешь в полутемноте, переутомленный до крайности, полумеханически склоняется над каждым новым раненым, поворачивает с боку на бок, разрезает белье, льет иод, вкладывает тампоны, бинтует.

Каждые десять-пятнадцать минут он выпивает немного водки и после каждого глотка крякает с видимым удовлетворением.

Это он позволил мне войти (я узнаю голос). Второй врач в эту минуту отдыхает. Меня перевязывает брат милосердия, а он подходит ко мне и расспрашивает о том, что происходит на поле битвы.

Я довольно грубо отвечаю ему, что ничего не знаю. Он отходит.

Раненые прибывают без конца. Землянка полна стонов и жалоб страдающих людей.

Вход загромождён ими. Минутами в землянке становится совсем темно.

Через равномерные промежутки времени раздается однообразная, как молитва, просьба, произносимая утомленным голосом младшего врача:

— Освободите вход. Пожалуйста, освободите вход. Не то мы задохнемся.

Меня перевязали. Но долго здесь меня держать не станут.

Я жду только, чтоб утихла артиллерийская буря. Таких, как я, здесь есть не мало. Мы нерешительно посматриваем друг на друга. Итти сейчас или обождать?

На крыше один за другим разрываются два снаряда. На передовых позициях мы спокойно

ходили под таким огнем а здесь, раненые, мы боимся высунуть нос из землянки.

Несмотря на зловоние и на стоны раненых, землянка нам кажется раем. В ней мы защищены от снарядов пластом земли в четыре метра толщиной. Только бы нас отсюда не прогоняли. А здесь полно...

Под ногами у меня пробирается какое-то животное.

Это—пес, худой, желтый, с облезлой шкурой. Он, должно-быть, достался нам от немцев вместе с пунктом. Пес пытается облизывать раны, санитары усердно отгоняют его.

Найдя среди раненых немца, он приветствует его прыжками и вилянием хвоста.

Новый взрыв, более сильный...

У входа раздаются крики. Несчастные, сбившиеся в кучу, устремляются подальше от входа, в глубину подземелья. Меня притиснули к самой стенке.

Снаряд разорвался на лестнице перед входом. Я ощутил его жар и ясно видел пламя разрыва.

В землянку вбегает санитар, страшно бледный, со стиснутыми зубами, придерживая правую руку, висящую, как тряпка, в растерзанном на клочки рукаве; расталкивая других он пробирается к задней стене.

Двое других санитаров с трудом вносят человека, покрытого землей, залитого кровью, пахнущего порохом; голова его со стеклянными глазами бессильно свесилась вниз.

Расчищают место. Оба врача спешат оказать помощь. Вдруг—снова движение в толпе. Еще двое раненых, отец и сын,—я видел их раньше на передовой линии,—отец ранен тяжело, он без сознания; сын очень возбужден, размахивает руками, жалуется на боль.

Снова толкотня, кто-то ругается. Младшего врача схватил припадок рвоты. Я слышу острый запах блевотины.

Второй доктор подходит к нему. Но он его отстраняет, глубоко вздыхает, глотает водку из кружки, прищелкивает языком и снова принимается за свою работу, которой не видно конца. Наклонившись под изрешетенным осколками снаряда истекающим кровью человеком, он, икая, считает его раны:

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... ого, шестнадцать...

Я решительно выхожу из землянки.

Впереди меня два санитара несут неподвижно лежащего на носилках раненого; руки у него сложены на животе; глаза горят сумасшедшим блеском.

Бомбардировка несколько утихла. Мне предстоит пройти две тысячи метров для того,

чтобы добраться до госпиталя, из которого меня эвакуируют в тыл. И этот путь надо сделать по руслу ручья, которое беспрерывно обстреливается тяжелыми орудиями...

По нему проходит линия заградительного огня.

Я вижу в оголенной лощине передо мною бегущих со своими тяжелыми ношами санитаров. Я, как и санитары, стараюсь итти по ближайшему откосу, и снаряды разрываются справа от нас, к счастью довольно далеко.

Вся земля вокруг в черных воронках от снарядов. Здесь шел упорный бой. Повсюду валяются сумки, остатки амуниции, оружия и трупы немцев.

Санитары, которые уже не раз проделали этот путь, уверенным шагом спешат вперед. На фоне всеобщего опустошения и смерти эта кучка живых бесстрашных людей непередаваемо трогает меня.

По пути я узнаю тела товарищей. Вот лежит, наполовину зарытый снарядом в землю с развороченной осколком грудью маленький фурьер 10-й роты.

Он был совсем молод,—призыва 1915-го года. У него искривлен рот и почернело лицо, но я узнаю его по очкам.

Лощина сворачивает вправо. На повороте я останавливаюсь: здесь снаряды сыплют без передышки.

Я едва успеваю броситься на землю, как в двух шагах от меня взлетает в воздух целый выступ откоса. Я с головой засыпан землею. Я приподнимаюсь... опять ложусь. Меня охватывает непреодолимый страх. Снаряды разрываются ежесекудно. Я прислушиваюсь изо всех сил, но почему-то не слышу характерного воя, указывающего на приближение снаряда... Я растерян... Они разрываются со всех сторон вокруг меня, но почти бесшумно, и при разрыве выделяют облачка густого белого дыма. Я чувствую терпкий запах не то цветущего сада, не то спелых яблок, он кружит мне голову. О, я знаю, что это такое! Слизистая оболочка рта и носа воспаляется, из глаз начинают течь слезы... Я тороплюсь надеть противогазовую маску, но слюда в ней попорчена... газ проникает под маску... я задыхаюсь...

По всей лощине стелется белая пелена газа, похожая на осенний предрассветный туман над водой, разгоняемый утренним солнцем.

Я закрываю руками ослепленные глаза и бегу в облаке газа, изо всех сил задерживая дыхание. В носу и горле режущая боль. Время от времени я смотрю вперед сквозь жгучие слезы, чтобы проверить направление. Впереди ровным

шагом все еще движутся санитары. Я значительно отстал.

Наконец, я пробегаю зону газа и попадаю в сферу шрапнельного огня.

Я иду дорогой, по которой шел наш обозный состав.

Она усеяна трупами. Один держит еще в руке ведерко, кофе из которого разлилось по земле, другой весь обвешан пустыми котелками, словно дикарь амулетами.

Большинство изувечено до неузнаваемости. Я не могу забыть одного молоденького солдата с развороченным животом.

Как мне вырваться из этого ада? Ведь я, наконец, ранен, передо мною открывается жизнь... Меня ждут светлые палаты госпиталя, рой белых косынок, моя мать, родной дом, ты, любимая, улыбки друзей... Мне больше не придется получать приказы, которые легче принимать, чем отдавать. Я буду жить, я хочу жить!..

Но как уберечься от снарядов, которые летят беспрерывно? И особенно от этих тяжелых, воющих как локомотивы?

Два таких «чемодана» лопаются на самой дороге в нескольких шагах от меня. Они разносят все в клочья.

Они разрываются с таким оглушительным грохотом, что я от страха падаю ничком на землю. Может-быть, это глупо. Может-быть,

именно сейчас надо воспользоваться минутой и пробежать вперед.

Поднимая лицо от земли, я вижу среди облаков дыма санитаров, попрежнему бегущих вперед...

Ах, вот кто честно исполняет свой долг, не бросает поля битвы. А я—я бегу. Бегу, утратив стыд, потеряв голову... Бегу изо всех сил, подхлестываемый страхом, преследуемый мертвецами, валяющимися кругом...

Когда, наконец, все это кончится?..

Вдруг меня точно хлыстом ударяет сотрясающийся воздух. Я падаю. Это шрапнель разорвалась, попав в санитаров.

Я хорошо сделал, что не пошел за ними.

Когда дым рассеивается, я вижу огромную воронку, из которой торчит что-то темное; это—уткнувшиеся в землю пустые носилки. Они точно грозят низко нависшему небу своими двумя длинными рукоятками.

Рядом ползком тащится по земле по направлению к пригорку воющее человеческое тело.

Я не успеваю его рассмотреть, как ужасающий взрыв подкидывает меня в воздухе и швыряет на землю... Я оглушен.

Придя в себя, я чувствую только тупую тяжелую боль в черепе.

Я вижу поблизости прикрытие, бегу к нему. Спустившись в него, я нахожу одного из двух

санитаров, которые все время шли впереди меня, того самого, который только-что полз по земле.

— О, мои ноги, мои бедные ноги! Господи, спаси мне мои ноги!

Кровь из его ран темными струйками бежит по белой меловой почве.

— Пить!.. Пить!.. Ой, ноги, ноги... Перевяжи меня!..

Я роюсь в его карманах, но не нахожу пакетов с бинтами. Я отдаю ему свой.

Его фляжка пуста. И у меня нет воды. Я произношу несколько утешительных слов, таких, какие он сам обычно говорил раненым...

Он долго смотрит на меня, как бы желая увериться в том, что я не лгу.

Я беру, как у ребенка, его голову в руки. При этом у меня от напряжения усиливается боль в боку...

Кругом ни души... Начинает быстро темнеть.

Я вдруг чувствую страшное одиночество. Поворачиваю голову к стене и весь сотрясаюсь от рыданий. А лежащий в моих руках санитар медленно холодеет...

Сегодня, описав тебе мой страх, я не лягу спать. Меня будут преследовать кошмары.

Два брата

В холодном зеленоватом предутреннем свете утомленные санитары медленно выходят из перевязочного пункта, устроенного под землей. Они осторожно выползают на свежий воздух, подозрительно прислушиваясь ко всякому шуму, и наверху дожидаются остальных товарищей, чтобы всем вместе пойти на отдых.

Выход из этого обширного подземелья ведет на большой двор, покрытый развалинами прежних построек. Берротрен обращает внимание других на то, что двор усеян также мелкими остатками трупов. Убитых в эту ночь убирали торопясь, под обстрелом, и унесли только более крупные куски тел.

— Видишь, друг, вон там валяется палец... Смотри, смотри, да ведь это палец Ликарнэ! Узнаешь кольцо с пуговицей немецкого гвардейца и двумя кусочками голубого стекла, которые он сам вставил? Прекрасная работа! Он был мастер на такие пустяки. Бедный Ликарнэ! Я, пожалуй, возьму это кольцо... Жалко бросать его здесь. Я сохраню его, как память о нем. Или

нет, я отдам его сержанту, пусть пошлет семье. Что ты скажешь на это? Так, пожалуй, будет лучше!..

— Все в сборе? Сейчас будет перекличка!— об'являет сержант.

Невеселая церемония проходит быстро.

— Габриэль...

— Есть.

— Дюпон, Жозеф...

— Есть.

— Дюпон, Фердинанд...

Молчание. Дюпон Жозеф во время обстрела на минуту потерял из виду своего брата. Больше он его не видел. Он искал его всю ночь. Надеялся найти на пункте. Но Дюпон Фердинанд не вернулся.

— Ты помнишь, где именно ты потерял его из виду?

— У первых линий окопов, налево от склона, занятого сенегальцами.

— Он не был ранен?

— Нет.

— Вернее всего, он попал в плен к бошам...— «Фердинанд Дюпон—пропал без вести», бормочет сержант, отмечая у себя в книжке. — Не огорчайся, Жозеф, он наверное в плену. Ты еще увидишь его, когда окончится война.

Жозеф Дюпон молчит, застыв на месте, бледный, мрачный, с уставившимися в одну точку глазами.

Перекличка продолжается. Не откликаются шестнадцать: пять убито, один пропал без вести, десять ранено.

— Марш вперед!

Солдаты смотрят друг на друга, словно удивляясь чему-то; унылый и беспощадный сумрак предрассветного часа как-то трагически подчеркивает утомление и исхудалость этих забрызганных грязью лиц. У многих на лице ссадины от камней, которые разлетаются при более отдаленном разрыве снаряда, и кровь из ссадин сочится по капле, свертываясь на оледеневшей земле.

Кое-кто неверными руками достает манерку и допивает последнюю каплю жидкости.

Опираясь на палки, походкой разбитых стариков, тупо и безмолвно, как стадо животных, люди пускаются вперед. Бомбардировка немного утихла, спасение близко, каждый шаг отдаляет от железного кошмара передовых позиций. Тревога еще увеличивает усталость. Люди спотыкаются на каменистой почве, часто попадают в воронки от снарядов, незаметные под жидкой грязью, но напряжение последнего, необходимого шага поддерживает их, и они продолжают итти вперед.

Разговаривают лениво:

— Наши потери, собственно, не так уже велики. Больше всех попортил людей этот ужасный снаряд, который облобызал нас при выходе из пункта. Это был не иначе, как 380-миллиметровый.

— Все вы твердите о 380-миллиметровых, когда по вас щелкнет из тяжелого орудия. Это был всего только 210-миллиметровый,—скептически замечает кто-то.

— Чорт бы побрал их всех... Наконец- то мы отдохнем хоть немного.

— Подожди разговаривать об отдыхе, земляк, пока не отошел от этого ада по крайности на два-три километра.

— Как хочешь, а я думаю, можно уже считать, что на этот раз мы отделались благополучно.

В спокойном и свежем воздухе розовеющего утра четко раздаются редкие, отдаленные раскаты орудий, которые, очевидно, тоже просятся на отдых.

Время от времени высоко над головами слышится свист снаряда, взбрызгивающего грязь в стороне от дороги, на пустых полях. Солдаты хрипло посмеиваются над этими последними бессильными угрозами врага.

Жозеф Дюпон идет рядом с сержантом, впереди. Оба молчат.

— Жозеф, посмотри-ка вон туда, там словно кто-то есть под деревом, а?

— Нет, не вижу что-то, сержант... Надо думать, убитый...

— Да, похоже...

К уцелевшему стволу одинокого дерева прислонилась какая-то фигура, точно вылепленная из грязи. Сержант с Жозефом не спеша подходят ближе к неподвижному телу с безжизненно повисшими руками, нелепо распяленными пальцами и застывшим взглядом.

— Нет, это не труп,—говорит сержант.— Гляди у него слюни текут изо рта!..

Жозеф Дюпон, постояв секунду, снова идет дальше автоматическими шагами человека, который устал до последней степени и не остановится, пока не доберется до отдыха.

Сержант подступает ближе к неподвижному человеку.

— Да, это человек, туловище, ноги, руки, все цело, но разум отлетел от этой глыбы грязи... вместо лица только маска из засохшей грязи, серая маска, на которой красным пятном выделяется слюнявый рот и два тупых неподвижных глаза.

— Что с тобой, парень? Ты ранен?

— Э-э-э-э...

— Что ты тут делаешь?

— Э-э-э-э...

— Руки и ноги у тебя целы?

— Э-э-э-э...

— Ты какой части?

Этот вопрос, наконец, как-то смутно коснулся сознания человека. Ранен он, или нет, этого он не умел ответить. На вопрос о воинской части будит в нем сознание солдата.

— Санитарной...

— Санитар? Громы небесные!.. Да это Фердинанд!

Сержант поспешно соскребает кору грязи с лица человека.

— Ах, мать твою!.. Жозеф! Жозеф!

Но Жозеф отошел уже довольно далеко, а сержант слишком устал, чтобы побежать за ним; его разбитый голос чересчур слаб, чтобы разбудить полусонного человека, идущего на отдых.

Жозеф уже поднимается по склону пригорка. Сержант ясно видит его медленно удаляющуюся, прихрамывающую фигуру.

Внезапно—тяжелый свист над головой.

— Снаряд, — бормочет сержант, инстинктивно припадая к земле и увлекая за собой Фердинанда, который валится в грязь, как куль мочалы.

Густые клубы черного дыма окутывают вспыхнувшую огненную точку разрыва. Утренний ветер разгоняет дым.

На дороге, на том месте, где только-что был Жозеф, что-то шевелится в луже крови.

Ужас дает силы сержанту быстро доковылять до раненого. Когда он подходит, Жозеф, лежащий с раскроенным животом, уже испускает дух.

Сержант возвращается к Фердинанду. Того уже окружили другие санитары. Вся партия снова медленно пускается в путь. Фердинанда поддерживают с обеих сторон. Они проходят мимо тела Жозефа в глубоком молчании; к счастью, живой брат не узнает мертвого...

Часа два спустя Фердинанд Дюпон, приведенный сержантом, стоял перед фельдшером.

— У тебя бывают помутнения зрения? — спросил тот.

— Э-э-э-э...

Фельдшер прищелкнул пальцами перед носом Фердинанда.

— Ничего, мой милый. Это скоро пройдет. Мы тебя пошлем в госпиталь на отдых. Небольшое расстройство на почве общего переутомления.

Герой тыла

Правительственный комиссар нашей дивизии носит на правом боку кобуру, которую он решил освободить от револьвера в мае 1915 года. У него чин лейтенанта.

Он занимает комнату в здании жандармского управления, ко двору, рядом с комнатой канцелярской делопроизводительницы, хорошенькой блондинки.

Утром, встав после крепкого сна, он пьет шоколад, бреется, а затем выезжает на свою ежедневную прогулку верхом по направлению к позициям.

Иногда он смелеет настолько, что доезжает до воздухоплавательного парка, где начинается уже линия тяжелых орудий.

Отсюда прекрасно видны разрушенные деревни и линии окопов, отбитых прошлой осенью... К сожалению, проволочные заграждения часто скрывают от глаза более отдаленные места пейзажа.

Здесь можно всегда подобрать с земли стакан от снаряда, обломок штыка, осколок гра-

наты. Комиссар уносит эти трофеи с собою. Он отошлет их своей жене.

Ему часто попадаются навстречу отряды, возвращающиеся с передовых позиций на отдых. Они бредут усталые, мрачные, в их рядах многих не хватает. Они отдают ему честь, он приветливо им отвечает.

Он обедает у генерала, который относится к нему с большим уважением.

В те дни, когда нет приема, он разбирается в толстых папках своих дел.

Иногда жандарм приводит к нему испуганного, неуклюжего солдата. От него еще несет человеческой конюшней и резким запахом пороха. Его шинель от засохшей грязи и крови стоит коробом на измученном теле....

Он проделал все наступления последних месяцев. Потом он оказался не то пропавшим без вести, не то больным, не то трусом...

...Господин правительственный комиссар, рьяный защитник порядка и дисциплины, не ведает страха. Господин правительственный комиссар с зловещим прискорбием громит дезертира, не дает ему вымолвить слова, приказывает вывести вон, небрежно выслушивает свидетелей, закуривает папироску и, согласно законам военного времени, подписывает приказ о расстреле.

Оскорбление армии

Солдат в зелено-голубых лохмотьях вышел из хлева, где помещались арестанты, поклонился мне с почтением, от которого мне стало неловко, и спросил:

— Вы—адвокат, который должен меня защищать?

— Да, я. Ваше имя?

— Жак Озуэн.

— А, знаю: оскорбление начальства при исполнении обязанностей?

— Да, это самое. Жандарм говорил, что это грозит мне несколькими годами каторги...

— Я познакомился с вашим делом... Да, похоже, что так.

— Что чересчур много, пожалуй, за тот пустяк, в котором я повинен.

— Расскажите мне, пожалуйста, все по порядку и старайтесь ничего не пропустить.

— Вам, моему защитнику, я, так и быть, расскажу всю правду. Я выразился гораздо сильнее, чем показано. Но Корнель, наш сержант, славный парень. Он не хотел подвести меня под

каторгу... Он доложил дело в таком виде, точно я обругал только своего начальника... Видите ли, как все произошло... Сержант не давал мне покою за плохую выправку. Я нечисто делал полуобороты. Где уже тут до оборотов, когда едва дождались смены? Посудите сами, надо отдохнуть... Он мне заявил: — Капитан на тебя косится. Придется тебе попотеть. Ну, я ему и сказал: «К черту! Все твои офицеры сволочь, бездельники и круглые дураки!» Вот все, что я сказал.

— Шутите! И тому были свидетели?

— Конечно, были. Вся рота! Но это пустяки: ни один не выдаст...

— Вот в чем дело, мой милый. Счастье для вас, что вы мне рассказали правду. Необходимо восстановить дело в таком виде, в каком оно в действительности произошло. Ваш приятель Корнель хотел вас выручить, но едва не сослужил вам плохой службы...

— Как так?

— А вот послушайте. Таковы наши законы. Если вы, солдат, скажете начальнику: «Ты дурак», то вас будут судить военно-полевым судом, при чем, если оскорбление нанесено не в строю, то за него полагается, от года до пяти лет тюрьмы, если же оно было нанесено в походе, то—от пяти до десяти лет принудительных работ. Так гласит военный кодекс, составлен-

ный во время Второй Империи знаменитым маршалом Вайаном для армии Наполеона III, когда об антимилитаризме еще не слыхивали. Тогда царила строжайшая дисциплина, и малейшая вольность языка жестоко каралась... Если же вы скажете: «Все офицеры—круглые дураки», то это относится уже не только к вашему непосредственному начальству, а задевает честь всего командного состава армии. Такого ужасного преступления маршал Вайан даже не допускал, и потому в кодексе о нем не упомянуто. В наших военных законах совершенно не предусмотрен такой случай. Поэтому обвиняемый в таком преступлении подпадает под действие республиканского закона, обнародованного в 1891 году и наказывающего за коллективное оскорбление армии всего-на-всего тремя месяцами тюрьмы. Следовательно, ваш прямой интерес рассказать дело на чистоту и настаивать на том, что вы оскорбили всю французскую армию, все офицерство вообще. И помните: если у вас еще когда либо появится охота выругаться, то старайтесь употреблять самые общие выражения. Это звучит не менее эффектно, а обходится ровно в двенадцать раз дешевле.

В госпитале

(После битвы на Марне).

...Душный летний вечер. Редкие дуновения освежающего ветерка.

Через правильные промежутки времени раздаются раскаты пушек. Оптимисты уверяют, что это не пушки, а гром.

Голоса. Стук. Вверх по лестнице вносят раненых. Куда их положить? Открывают последнюю пустую палату.

Это — англичане, раненые у Вилле-Котерэ. Хирург молча осматривает простреленную насквозь ногу одного из раненых. Темные пятна угрожают распространиться от простреленной ляжки к бедру. Пуля, задев кость, вышла, развороти мускулы и оставив зияющую зловонную дыру.

— Скажите ему, что с ногой у него дело плохо...

— You have got a bad thing, you know... a bad leg, altogether.

— Quite roffen, is-t? got it off, does not matter...

— Он говорит, что лучше ее отрезать, что это—пустяки.

— Он прав. Yes, yes... Ах, ты, бедняга. Несите его.

В операционном зале деловая, напряженная тишина. Воздух тепел и словно стерилизован.

Англичанину накладывают на лицо пропитанный хлороформом носовой платок, и он засыпает, хрипло и отрывисто выкрикивая слова команды.

Врач надрезает коричневую от иода кожу вдоль по всей ляжке. Обнажается светлый, зернистый, жировой покров; затем нож вонзается глубже и открывает лиловый пучок мускульных волокон. Из рассеченных мелких сосудиков брызжет кровь, разрисовывая красными точками наши халаты.

Я фиксирую ногу.

Рядом стоит ведро, куда я ее должен бросить.

Вдруг где-то недалеко от нашего здания раздаются странные крики.

Мы слышим близкое тяжелое жужжание аэроплана, потом рассеянную ружейную пальбу и частый треск митральез.

Хирург на одну секунду поднимает свой нос.

— Кохер!

Ассистент бежит за щипцами Кохера.

Оглушительный взрыв. Все инструменты подпрыгивают и звенят в стеклянных шкафах. Оконные стекла лопаются. Врач делает знак, что ждет щипцов.

Он захватывает и зажимает ими те крупные сосуды, которые уже повисли со стороны туловища, и, продолжая резать, отделяет еще один толстый пучок кровеносных сосудов.

— Кэтгут номер два!

Он перевязывает большие сосуды и одним ударом отсекает остаток лиловой мускульной ткани.

Пила скрипит по кости. Она никуда не годится. Врач обливается потом.

— Другую!

Бегут за пилой.

Я тяну к себе ногу. Тяжелая, мягкая, она поддается. Из ведра торчит грязная желтоватая конечность, обмотанная рыжим от крови и синевато-зелеными от иода бинтами...

— А теперь пойдите узнайте, Горас,—спокойно говорит хирург,—не повредила ли бомба здание.

Возвращение победоносных воинов домой

Будучи эвакуирован из Вердена в Лион, я целый месяц провел в обстановке полного материального комфорта и в абсолютном бездействии. Я не мог ни читать, ни разговаривать. Это был месяц летаргии, месяц опустошенной жизни; один сплошной сон, пронизанный кошмарами, от которых я просыпался, сотрясаясь всем телом, прерываемый мучительными головными болями, которые оставляли в мозгу жестокий бороздящий след, прорезаемый свистками локомотивов и сигнальными рожками.

Близость к вокзалу была единственным неудобством госпиталя, в котором я лежал.

Врач был ко мне очень внимателен, он исполнял свой долг с настоящей теплотой и участием; это был один из тех редких врачей по нервным болезням, которые являются одновременно и учеными и целителями. Госпиталь помещался в чистом новом здании училища, выстроенном за год до войны. Ничто в этом здании не напоминало о военщине, если не считать звуков рожка.

Минутами мне казалось, что я снова—школьник счастливых мирных лет начала столетия. Моя палата прежде была классом; и стенные часы вызванивали время тем же негромким суховатым звуком, который некогда возвещал мне окончание уроков.

В нашем госпитале нашли себе временный приют около ста различных видов расстройства нервной системы. Можно было подумать, что в это здание ударила молния и, не убив никого, у каждого поразила какую-нибудь функцию и причинила то или иное уродство. Повреждения у всех были удивительно (я сказал бы) чистоплотны: ни крови, ни дурно пахнущих бинтов, ни гноя, ни ампутированных конечностей.

Тут были немые, были глухие, были люди с чрезмерной чувствительностью, которые от малейшего прикосновения подксакивали, точно по ним прошел электрический ток. У некоторых руки остались скрюченными, словно они постоянно обороняются от снаряда жестом ребенка, отбивающего летящий мяч. У других ноги изогнуты как у лягавой собаки, а вогнутый дугою позвоночник заставляет чрезмерно выступать круп, точно у центавра. У другого, при попытке подняться с места, все тело начинает дрожать мелкой дрожью как желе, и он, обливаясь холодным потом, неподвижно падает на постель.

А вот человек, у которого непрерывно трясется голова. Глаза моргают, лицо посинело, голос дрожит, он измучен этой постоянной тряской.

Вот старый колониальный солдат, согнутый на-двое, который не может ступить шага, не вздергивая головой, как норовистый конь. Другой непрерывно пожимает плечами. Третий ежесекундно мигает глазами. Четвертый постоянно делает движение ртом, точно полощет его водой.

Есть такие, которые ходят странными шагами, словно ступают по птичьим яйцам. У них парализована чувствительность в одной половине тела, и нога, касаясь земли, не чувствует опоры; у этих есть какая-то странная безнадежность в движениях.

У некоторых бессильно повисла чрезмерно исхудалая рука; они потеряли способность действовать ею, и она понемногу сохнет.

И все-таки эта толпа весела. Эти люди шутят, смеются и греются на солнышке. Только в верхнем этаже есть изолированные комнаты, из которых иногда доносятся отчаянные вопли и звуки борьбы.

В определенные дни нам разрешают выходить, и некоторые из моих товарищей пользуются этим разрешением. Смущенные и неловкие, они выходят в одиночку или группами по

нескольку человек, сопровождаемые женщинами с безнадежными глазами и осторожными движениями, и рассыпаются по улицам города, живущим обычной суетливой и напряженной жизнью.

Они тщетно пытаются в ритме уличной жизни снова обрести согласованность и подчиненность движений своего бедного тела, пораженного в самую сердцевину, в нервные центры. Они с каким-то ребяческим сожалением наблюдают за людскими занятиями, которые прежде были доступны им, и смотрят на знакомые инструменты, которых теперь они уже не смогут держать в своих трясущихся, как у старца, руках; они с грустью глядят на улыбающихся женщин и веселых мужчин.

И это веселье, эти улыбки победителей им так же недоступны и чужды, как те ремесла, которые для них потеряны навсегда.

Зато эти люди теперь читают газеты с горькой улыбкой тех, кто знает правду.

———

ОГЛАВЛЕНИЕ.

		Стр.
1.	Долговязый	3
2.	Барышня Моран	7
3.	Смерть Бретена	12
4.	Крест Дидуля	17
5.	Один из них	21
6.	Страх	26
7.	Два брата	41
8.	Герой тыла	48
9.	Оскорбление армии	50
10.	В госпитале	53
11.	Возвращение победоносных воинов домой	56

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“.

ЛЕНИНГРАД, Просп. 25-го Октября, д. № 56.
ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ: . . . . . Тел. 524-36 и 619-60.
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР: . . . . . Тел. 217-79 и 545-77.
МОСКВА, Лубянский пассаж, помещ. № 43—49 . . . . . Тел. 224-09.

Библиотека для всех.

Цена *каждого № (32 стр.)* 5 к.; *двойного (64 стр.)* 10 к.

3— 4. **А. Аросев.**—Никита Шорнев.
5— 6. **М. Волков.**—Байки Антропа из Лысых гор.
7— 8. **Б. Лавренев.** — Происшествие.
21—22. **В. Каверин.**—Ночь на 26-е октября.
23—24. **Вс. Иванов.** — Как создаются курганы.
26—27. **Н. Никандров.** — Береговой ветер.
31—32. **С. Семенов.**—Бог и штаны.
33—34. **Н. Чердынцев.** — Портные.
35—36. **Н. Рыбацкий.**—Шкалик.
37—38. **Е. Нечаев.**—По пути к преподобному.
39. **Е. Семичев** —Подкоп.
41—42. **Попов (В. Косицын).** —Запись официантов.
43—45. **Н. Никандров.** — Во всем дворе первая.
46—47. **Ольга Форш.**—Преданный друг.
48—49. **Ольга Форш.**—Казнь Каракозова.
51—58. **Ф. Шаляпин.** — Страницы моей жизни.
60. **А. Толстой.**—Необыкновенное приключение Никиты Рощина.
61. **М. Зощенко.** — Аполлон и Тамара.
62. **Н. Никитин.** — Митька-Брень.
63—64. **А. Толстой.**—Черная пятница.
65—66. **М. Зощенко.** — Страшная ночь.
67—68. **Н. Никитин.**—Могила Панбурлея.
69—70. **П. Романов.** — Рассказы о любви.
71—72. **И. Эренбург.**—Три рассказа о трубках.
75. **Ис. Гольдберг.** — Наследство капитана Алешкина.
76. **А. Завалишин.** — Агитатор.
77—78. **М. Карпов.** — О зайце и людях.
81—82. **Афромеев.**—Улыбка.

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“.

ЛЕНИНГРАД, Просп. 25-го Октября, д. № 56.
ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ: . . . . . Тел. 524-36 и 619-60.
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР: . . . . . Тел. 217-79 и 545-77.
МОСКВА, Лубянский пассаж, помещ. № 46—49 . . . . . Тел. 224-09.

83— 84. Н. Баршев. — Гражданин Вода.
85— 86. М. Козаков.—Пыль.
87— 88. А. Хованская.—Волчий лог.
89. Дм. Четвериков. — Жестяной ангел.
91— 92. Вас. Андреев.—Волки.
101—102. М. Салтыков-Щедрин.—Премудрый пескарь и др. сказки.
103—104. Писемский.—Батька.
109—110. А. Чехов.—Унтер Пришибеев.
113. Ив. Горбунов.—Медведь.
117—118. Н. Успенский. Егорка - пастух.
121—122. Левитов.—Моя фамилия.
125—126. В. Короленко.—Река играет.
127—128. В. Короленко.—Лес шумит.
131—133. Д. Айзман.—Утро Анчла.
134—135. Ив. Бунин. — Господин из Сан-Франциско.
136—137. Ив. Шмелев.—Виноград.
139—140. Б. Зайцев.—Грех.
142—143. Кармен. — Дети набережной.
148—149. Муйжель.—Встреча.
151. А. Досвитный. — Миссионеры.
153—154. И. Франко. — Есть ли дружба?
155—156. А. Досвитный.—Тюнгуй.
157—158. Ив. Сенченко.—Город.
159—160. А. Слисаренко.—Президент Кислокапустянской республики.
162—163. Панч. — Земля.
164. Клуссайс.—Тысяча девятьсот семнадцатый.
165. Клуссайс. — Женщина с винтовкой.
175. Андрей Немоевский. — Летучка.
177—178. А. Струг.—Нелегальные.
179—180. Лефевр, П. Вайан-Кутюрье.—Солдатская война.
181—182. Ж. Ромен.—Возрожденный городок.
183—184. Ж. Дюамель. — Кирасир Кювелье.
185. А. Франс. — Дело геленщика.
186. Л. Франье. — Порочная душа.
189. О. Мирбо.—Исповедь Жибори.
191—192. Г. Мопассан.—Дьявол.
193. П. Амп.—Случай с сенатором,
195. П. Миль.—Воскресный отдых.
196—197. А. Барбюс.—Орден.

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“.

ЛЕНИНГРАД, Просп. 25-го Октября, д. № 56.

ПРАВЛЕНИЕ и РЕДАКЦИЯ: . . . . . Тел. 524-36 и 319-60.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР: . . . . . Тел. 217-79 и 545-77.

МОСКВА, Лубянский пассаж, помещ. № 46—49 . . . . . Тел. 224-09.

198—199. Г. Мопассан.—Госпожа Батист.

203—204. Дж. Лондон.—Мои скитания.

207—208. Кнут Гамсун.—В дни скитаний.

209—210. Белла Илеш. — Николай Сухай.

213—214. О. Генри. — Эльси в Нью-Йорке.

215—217. Дж. Лассен. — В стране доллара.

218. Дж. Лассен. — „Цветной Херлем“.

232. О. Генри.—Волшебный профиль.

164. Клуссайс. — Женщина с винтовкой.

187—188. Рода - Рода. — Сегодня в Америке.

251—252. Л. Сосновский. — Больные вопросы.

255—256. С. Малышев.—Боевые страницы 1905 г.

257—258. О. Давыдов.—Маклочане.

271—272. П. Крапоткин.—Побег.

273—274. М. Васильева. — Записки крепостной.

202. Эмиль Золя.—Наводнение.

205. Джек Лондон.—Признание.

206. Джек Лондон. — Бродяги, путешествующие ночью.

211. Джек Лондон.—Две тысячи „Стиффов“.

228—231. Дж. Лассен. — Господа и рабы — роман из жизни американских рабочих.

234—236. Джек Лондон. — Дорожные парни и веселые коты.